Л. В. Богатырева, К. Г. Исупов

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ГЛАЗАМИ ЗАПАДА И ВОСТОКА

В ходе работы над издательским проектом прояснился короткий список отечественных авторов, которых на Западе и Востоке переводили и читали с особой пристальностью. При этом естественное любопытство к соседней стране весьма быстро — примерно к началу второй половины XIX века сменилось другой позицией: восприятием наших классиков как учителей человечества. Это наше утверждение звучит, конечно, горделиво и возвышенно-патетически, но факт остается фактом: многоустый хор писателей и мыслителей Западной Европы, Америки, азиатских стран Дальнего Востока, а также арабо-мусульманский мир единодушно признали учительский характер нашей литературы.

Сбылся наяву тезис А. Н. Некрасова: «Русская литература может быть только учительной». Эту миссию отечественной словесности на Западе поняли превосходно и своевременно. Уже в лекциях 1887 года Эмилия Пардо Басан сказала: «Русский писатель требует чего-то большего: убежденный в важности своего дела, в том, что он — великий труженик во имя общественного блага, радетель прогресса своей родины, Святой России, призванной возродить мир; он не довольствуется ни златом, ни славой искусного литератора — он хочет просвещать и водительствовать поколениями»[1].

Кого переводили наиболее охотно и кем восхищались? Вот этот список: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Тютчев, Тургенев, Лев Толстой, Чехов. Куда меньше в этом отношении

---

[1] Пардо Басан *Э.* Революция и роман в России // «Вожди умов и моды»: Чужое имя как наследуемая модель жизни. СПб., 2003. С. 538. И еще: «русские требуют, чтобы романист был провидцем, vates (*лат.* пророк), лучшего будущего, вождем для грядущих поколений, освободителем рабов, борцом с тиранией, избавителем отечества, подателем идеала, евангелистом и апостолом» (Там же. С. 540). Пер. К. С. Корконосенко.

повезло Некрасову и Щедрину, Г. Успенскому и Вс. Гаршину, Фету и Полонскому.

Пушкин привлекал причастностью к «школе гармонической точности». При всей трудности переложения Пушкина на языки Европы и Азии мировой читатель безошибочно нашел в нем автора прекрасной и спокойной в своем онтологическом достоинстве и самодостаточности картины мира. Сейчас трудно без улыбки читать у Н. И. Конрада о первом китайском переводе «Капитанской дочки», — текст был китаизирован до возможного предела, т. е. до полной почти неузнаваемости. Разумеется, адаптация иноземного произведения к родной почве переводчика — одно из условий труда перелагателя. Но и в Китае, и в Японии, и в Корее, и в Индии, и во всех странах Запада, на Балканах и в Скандинавии, и на американском континенте прекрасно уяснили, что Пушкин — подлинный устроитель русского эстетического космоса, это он впервые расставил все вещи мира и «артефакты» нашего бодрствующего сознания по своим местам и нашел им адекватные имена.

Инициатор нашей литературно-языковой нормы, Пушкин с исчерпывающей ясностью, которая заменила нам все три «Критики» Канта и всю антропологию Запада, и все конфуцианство с буддизмом и индуизмом, плюс суфизм, определил фундаментальные нравственные установки человеческой экзистенции, коль скоро

На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.
Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва,
Без них нам целый мир — пустыня.
Душа — алтарь без божества.

А его ученик-соперник Фёдор Тютчев добавит (тем же размером и в схожих интонациях в стихотворении «Колумб», 1844):

Так связан, съединен от века
Союзом кровного родства
Разумный гений человека
С творящей силой естества.

Спроси себя, читатель: «У кого хватит безрассудств и дерзновения не согласиться с этими чеканными формулами, с их очаровывающей простотой и глубиной?» Есть нечто гипнотическое в этой афористической поэзии, нечто универсально-значимое, перед чем умаляются и почти исчезают национальные пристрастия и амбиции разных народов. Пушкин написал «Маленькие трагедии», но в целом его картина мира бестрагедийна; смерть и жизнь примирены в ней в гармонически сопряженных объемах, «сняты» (в гегелевском смысле — по уточнению Ю. М. Лотмана).

«О трагическом чувстве жизни» (говоря названием мудрой и взволнованной книги Мигеля де Унамуно 1913 года) в его русском изводе всепланетный читатель узнавал у Лермонтова. Светлый Ангел пушкинской поэзии обратился в сумрачную Музу певца Кавказа. Образ Печорина, игрока с судьбой, меланхолического артиста на сцене жизни, вуайера (наблюдение В. Набокова) и беспринципного жонглёра людьми, которые попадают в зону его агрессивного внимания, поразил читателей. В мировой литературе был открыт новый человек, делящий свое бытийствование с необратимо безнадежным миром. Он неудержимо стремится к смерти, — и эта его танатологическая окрыленность оставляет далеко позади эстетов-гордецов лорда Байрона; даром, что финал биографии Печорина слишком откровенно «цитирует» гибель автора «Дон Жуана» (с 1812) и «Паломничества Чайльд-Гарольда» (с 1818) от ран в Греции.

Среди больших писателей второй половины XIX века центральное место заняла антитетичная пара «Достоевский / Толстой». Эта ситуация, отразившаяся в нелепом российском неологизме «Толстоевский», и для нашего читателя оказалась центральной. С легкой руки Дм. Мережковского роли внутри оппозиции распределились по наивной и упрощенной схеме: Толстой («художник плоти») / Достоевский («художник духа»)[2]. Вряд ли ради этой нехитрой мыслишки стоило писать громадное по объему сочинение «Л. Толстой и Достоевский» (впервые — в дягилевском «Мире искусства», с 1900 по 1902). И тем не менее труд Мережковского принес свои плоды. Оперативно сработанные переводы его на китайский, японский, английский, французский и немецкий выявили две возможности рецепции: 1) в контексте универсалий культуры; 2) на фоне резко усилившейся ауторефлексии над темой национальной идентичности.

[2] См. сб. Толстой или Достоевский? Философско-эстетические искания в культурах Востока и Запада. СПб.: Наука, 2003.

Было положено начало усилению и аспектуальному расширению проблемно-дискуссионного поля таких предметов, как «архетипы народного сознания на фоне общечеловеческого культурного опыта», «национальный характер и универсальные константы человеческого бытия», «характерология с сословной точки зрения», «языки межнационального общения в диалоге культур». Словом, в тени Достоевского создавались те режимы философствования, которые позже означены будут как философия жизни, персонология, метафизика личности, онтология текста, герменевтика и прочими красивыми словосочетаниями. «Русские мальчики» Достоевского проговорили меж собой основные проблемы новой онтологии, гносеологии, этики и эстетики; добавим к этому социологические и историко-политические этюды в «Дневнике писателя» (1876–1877; 1880–1881). Достоевский, который слова доброго не сказал ни про европейцев (и западных, и восточных), ни о представителях азиатского региона, разбудил задремавшее самосознание основных титульных наций планеты[3]. Такой оказалась его миссия в истории мировой совести — будить национальное самосознание и дать шанс на покаяние одичавшему человеку. В этом его точка схождения с Толстым как моралистом и проповедником. И в этом же он совпадает с Гоголем как автором «Выбранных мест из переписки с друзьями».

Теперь ни для кого не секрет, что новаторская фактура романов Достоевского инициировала фундаментальные открытия философской мысли XX века и в первую очередь — философию диалога. В этой связи называют обычно М. Бахтина; прибавим к этому высокому имени Н. Бердяева и А. Штейнберга.

Но вот выразительная параллель: Поль Клодель, который Бердяева не слишком почитал, а о Бахтине и вовсе не слышал, самостоятельно пришел к той же концепции полифонически устроенного мира автономных и диалогически окликающихся сознаний, которую развивал с 1929 года Михаил Михайлович. По ходу полемики с А. Жидом и А. Сюаресом, авторами книг

---

[3] *Кулаковска Д.* Славянская идея в творчестве Достоевского // Советское славяноведение. 1989. Т. 4; *Алексеев П. В.* 1) Мусульманский Восток в поэтике Ф. М. Достоевского // Вестник Омского госуниверситета, 2013. № 4. С. 298–301; 2) Восток в творческом сознании Ф. М. Достоевского периода Крымской войны // Имагология и компаративистика. Горно-Алтайский госуниверситет, 2016. № 1 (5); *Новикова Е. М.* «Западные славяне» в «Дневнике писателя» Ф. М. Достоевского периода русско-турецкой войны 1877–1878 гг. // Там же; *Бережков Ф.* Достоевский на Западе (1916–1928); К 190-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского // Нева. 2011. № 5.

о Достоевском, Клодель «писал Ривьеру 17 февраля 1912 г., как раз критикуя книгу Сюареса: “У Достоевского есть два свойства: он изобретатель и композитор. Как изобретатель он открыл полиморфный или полифонический характер (я использую эти определения за неимением других), и он обладает тем самым гениальным даром никогда не бросать ни одной идеи, но использовать все вытекающие из нее последствия. Как композитора его мощь может сравниться разве что с Бетховеном: он умеет терпеливо собирать воедино идеи — из самых сокровенных уголков, со всех сторон — и заставлять их блестеть в ошеломляющих созвучиях несравненного богатства и силы. Он сделал с романом-фельетоном то же самое, что Бетховен — с сонатой”» [4]. Добавим, что «полифоническая» интуиция Клоделя мотивирована еще и его режиссерским опытом, когда он открывал для себя драматургические архитектоники прозы Достоевского. Достиг до Клоделя и неологизм «роман-трагедия», — он нашел его у Мережковского, который, в свою очередь, похитил его у Вяч. Иванова.

Имплицитно эти философемы-сигналы (трагический сюжет, полифония характеров, симфоническое «бетхонианство») настигли в свое время Германа Гессе. В статье 1925 года «О Достоевском» имена Бетховена и русского классика поставлены рядом. Проза Достоевского пережита Гессе катартически: «Достоевского надо читать, когда мы глубоко несчастны, когда мы исстрадались до предела наших возможностей и воспринимаем жизнь как одну-единственную пылающую огнем рану, когда мы переполнены чувством безысходного отчаяния. <...> Конечно, и совесть ведет через страдание и страх смерти к отчаянию и вине, но она выводит нас из невыносимой бессмысли-

[4] *Гальцова Е. Д.* Клодель — читатель Достоевского (Достоевский в автобиографических произведениях и переписке Поля Клоделя) // Наваждения. К истории «русской идеи» во французской литературе XX века. М.: Наука, 2005. С. 76–113). Весьма важна и такая реплика Клоделя: «“...В ту эпоху, — вспоминает о молодости Клодель, — я открыл для себя Достоевского, который оказал большое влияние на мое понимание характеров. Достоевский — изобретатель полиморфного характера. <...> Характер персонажа внезапно претерпевает некую спонтанную мутацию, то есть в нем обнаруживается нечто, чего в нем до того не могло и быть <...>. В этой непредсказуемости, в этой непостижимости человеческой природы и заключается самое большое достоинство произведений Достоевского. Человек не ведает о себе, и он никогда не знает, на что он способен в новых обстоятельствах”. То есть “полиморфность”, в понимании Клоделя, — это способность к динамике, вплоть до самой радикальной, когда может произойти “выворачивание персонажа” — “retournement subit de personnage”» (Там же).

цы одиночества, приближает к пониманию смысла, сущности, вечности. <...> Она все время, даже в глубочайшем несчастье и в крайнем смятении, держит открытой узенькую тропку, которая ведет не назад, к обреченному на гибель миру, а через него к Богу»[5].

Не «игра в бисер», но изживание вины и страха смерти через катарсис, — вот чем одаряет исповедальная проза Достоевского, способная привести отчаявшегося человека в состояние метанойи (μετάνοια) — духовного преображения, покаяния и воскрешения[6].

Порой «Достоевский» как уникальный феномен мировой культуры производил магическое воздействие на влюбленного в него читателя. Писатель как личность и его тексты как жизненная инструкция становились чем-то вроде путеводительного маяка в построении собственной жизни и идеологии. Именно так воспринял русского классика чешский просветитель, ученый и первый президент республики Томаш Гарриг Масарик. Заметим, что далеко не все в наследии Достоевского принято Масариком без оговорок; напротив, сам переживший сложную эволюцию, чешский комментатор «великого пятикнижия» начал с восторженной рецензии на первый том собрания сочинений в переводе на чешский (1892) и закончил монографическим освещением проблем творчества Достоевского в составе трехтомного труда «Россия и Европа» (1907–1910). За это время Масарик успел пройти путь от увлечения Кантом и Фейербахом, что внушило ему уверенность в пользе научного знания к провиденциальной трактовке исторического процесса, что совместилось с принципами «святой веры, опираю-

---

[5] *Гессе Г.* Письма по кругу / сост., авт. пред. и комм. В. Д. Синельника. М.: Прогресс, 1987. С. 143–144.

[6] См. *Исупов К. Г.* Эстетическая универсализация катарсиса у Ф. М. Достоевского и Вяч. Иванова // Судьбы литературы Серебряного века и Русского зарубежья: Сб. материалов. (Памяти Л. А. Иезуитовой: К 80-летию со дня рождения) / отв. ред.-сост. С. Д. Титаренко. СПб.: Изд. дом «Петрополис», 2010. С. 169–182. Полифонию Достоевского открывали не раз. Чешский критик Ф. К. Шальда еще в 1910 г. писал: «Достоевский — высочайший мастер формы из всех, когда-либо живших на земле, но, разумеется, форма эта совершенно новая <...> я бы охотнее всего назвал ее *полифонической*. Все фигуры Достоевского связаны многообразными нитями, которые, переплетаясь, как в работающем ткацком станке, образуют густейшую жизненную ткань» (*Salda F. X.* Ucty z minulosti // Soubor dila F. X. Saldy. 19. Kriticke projevy 10. 1917–1918. Praha, 1957. S. 496. Цит. по: *Кауфман Ф.* Борьба Масарика с Достоевским // Русская литература. 2001. № 1. С. 200).

щейся на широкий синтез Платона и Иисуса в интерпретации св. Павла»[7].

Но вот на финальных страницах «Заключения» мы встречаем неожиданное суждение: «В русской литературе решаются не мировые или общечеловеческие проблемы, а только проблемы русские, причем сиюминутные русские проблемы, “злоба дня”». И это на фоне обожаемого им Достоевского с его «всечеловеком» и «всемирной отзывчивостью»!

По этой хрестоматии нетрудно убедиться, что основной пафос текстов Антологии как раз и заключается в признании мировым читателем за русской литературой особого — общечеловеческого — горизонта видения мировых проблем и в плане истории, и в плане вечности. Оказывается, напряженный творческий диалог с писателем, продлившийся у Масарика-читателя практически всю жизнь, способен был превратиться в «борьбу с Достоевским».

Там, где французский и немецкий читатель стремится к обнаружению точек «избирательного сродства», английский с прискорбием отмечает глубокую разницу ментальных привычек. Его опыт чтения родной британской классики оказывается непригодным для восприятия классики русской. На этом национально мотивированном недоразумении выстроено пневматологическое эссе Вирджинии Вулф «Русская точка зрения» (1925). Статья наполнена тонкими наблюдениями.

Вот читатель-англичанин: «...от англичанина и требуется такое большое усилие, чтобы перечесть «Братьев Карамазовых» или «Идиота». Душа чужда ему. Даже антипатична. В ней мало чувства юмора и совсем нет комизма. Она бесформенна. Она очень слабо связана с интеллектом. Она смутна, расплывчата, возбуждена, не способна, как кажется, подчиниться контролю логики или дисциплине поэзии». А вот положение писателя-англичанина: «Простота, отсутствие напряженности, представление, что в мире, исполненном несчастий, главная обязанность человека — понять наших ближних, “и не умом — потому что это легко — умом, — а сердцем”, — вот то облако, которое окутывает всю русскую литературу, которое соблазняет нас отдох-

[7] *Кауфман Ф.* Борьба Масарика с Достоевским // Русская литература. 2001. № 1. С. 227. См. также: *Бем А. А.* Масарик — критик Достоевского // Центральная Европа. 1932. № 8–9. С. 424–431; *Егоров Б. Ф., Малевич О. М.* Масарик и русская литература // Масарик Т. Г. Россия и Европа: Эссе о духовных течениях в России. Кн. 3. Ч. 2–3. СПб., 2003. С. 470–514.

нуть от нашего иссушающего блеска раскаленных дорог под его сенью: и конечно, последствия губительны»[8].

Вирджиния Вульф с поразительной точностью (которой так не хватает многим меланхолическим опусам английской критики — от Оскара Уайльда до Джона Голсуорси) определила, в частности, характер чеховского письма и основной предмет его внимания: «Душа больна; душа излечилась; душа не излечилась. Такова сущность его рассказов».

Это тип реализма писателя-врача, который впору назвать диагностическим реализмом, английский автор распространил на всю русскую классику: «Действительно, именно душа — одно из главных действующих лиц русской литературы».

Достоевский также осознан В. Вульф по контрасту с британской литературой. Она, по мнению автора эссе, более склонна «к сатире, чем к состраданию, к исследованию общества, чем к пониманию индивидуумов как таковых»[9].

Как Фёдору Михайловичу удалось стать «королем людей» (так одна дама выразилась о П. Я. Чаадаеве)? Кратчайший ответ дан во множестве работ о конфессиональных предпочтениях Достоевского: путем прививки к обезбоженному мироотношению современного ему Запада величайшей из традиций — византийского православия. Это прекрасно показано в книге болгарина Ник. Нейчева «Таинственная поэтика Достоевского» (рус. изд.: Екатеринбург, 2010), фрагменты из которой помещены на сайте РХГА (http://classica.rhga.ru/).

Здесь мы подходим к самому главному и сложному в вопросах восприятия русской классики глазами Запада и Востока.

Небесполезно было бы различить процедуры восприятия (читательские интерпретации), влияния (от подражаний и пародий до «заражения» и сочувственного приятия мировоззренческих конструкций автора), оценки и критики (аксиология чтения). Когда француз, воспитанный на Паскале, картезианстве и О. Конте, читает Достоевского, он извлекает из его текстов не своеобычность стиля или трагический фон нарратива, а метафизику и трактовку личности. Так и произошло: персонализм

---

[8] Следует важное уточнение: «Ничто не разрешилось, чувствуем мы, ничто не сложилось должным образом. Однако метод, которому, как кажется нам сначала, свойственны небрежность, незавершенность, интерес к пустякам, теперь представляется результатом изощренно-самобытного и утонченного вкуса, смело отбирающего, безошибочно организующего и контролируемого честностью, равной которой мы не найдем ни у кого, кроме самих же русских».

[9] *Вулф В.* Русская точка зрения // Новый мир. 1981. № 10.

(Мунье, Недонсель) и экзистенциализм (Сартр, Камю, Чоран), которые считаются французским изобретением, возникли (при мощном содействии Н. Бердяева и Льва Шестова) в форме штудий прозы Достоевского.

Это — бесспорный факт колоссального значения: мы перестали оглядываться на европейскую традицию. Сие не лишенное приятности и увлекательное занятие продлилось весь XVIII век и добрую половину XIX века. В аудитории, где поздний Шеллинг читал свою философию откровения, могли встретиться Шевырев, И. Киреевский («Речь Шеллинга», 1845) и Кьеркегор.

Ученики возросли в ранг учителей.

Нечто подобное, но в, так сказать, утонченно-рафинированном виде происходило в Германии. Т. Манн, переводчик и комментатор Достоевского, автор знаменитого афоризма о «святой русской литературе», написал статью «Достоевский — но в меру» (лишь пуритански сдержанный немец мог так озаглавить статью), не только не скрывает влияния на него русского мыслителя, но и впрямую эксплуатирует эпизод диалога Ивана Карамазова с Чёртом в «Докторе Фаустусе».

Т. Манн стоял у истоков металитературы (когда, по его тезису, «книга как бы обретает самосознание»), — это тоже от нашего классика; ментальные ландшафты сознания переслаиваются эстетической топографией Петербурга; так, обитатель подвалов и углов Макар Девушкин читает «Науку о человеке» Галича, лекции которого слушал молодой Пушкин в Императорском Царскосельском лицее.

Изящная словесность взяла на себя функции профессиональной философии; она учительствует, рассказывая и рассказывает, научая искусству мысли. Картины жизни униженных и оскорбленных стали мыслями о жизни, концептом отмысленной повседневности, и тогда, по слову классика чешской семиотики Яна Мукаржовского, «вокруг романа, захватившего читателя, нагромождается не одна, а множество действительностей, чем глубже произведение захватило воспринимающего, тем шире область реальных фактов, знакомых ему и жизненно важных для него, с которыми произведение вступает в предметное отношение» [10].

Она, эта объятая рефлексией и приумноженная восприятием повседневность, обнажила и раскрыла технологию отмысливания; на письме сие и выглядит как металитература. Новая тех-

[10] *Мукаржовский Я.* Эстетическая функция, норма и ценность как социальные акты (1936; пер. В. Каменской) // Чешская и словацкая эстетика XIX–XX веков: В 2 т. М.: Искусство, 1985. Т. 2. С. 103.

нология письма дала нам Л. Пиранделло, Х. Л. Борхеса, У. Эко, постмодерн рубежа XX и XXI веков на родине писателя.

Пусть косвенным подтверждением наших соображений послужат выводы замечательной статьи известного польского достоеведа, специалиста по истории почвенничества, ученика А. Валицкого профессора университетов в городах Лодзь и Торунь А. де Лазари и его соавтора Т. Сухарски. Здесь комментируются две книги Г. Бжоза (*Brzoza H.* Dostojewski — myśl a forma. Łódź, 1984; 24 *Brzoza H.* Dostojewski. Między mitem, tragedią i apokalipsą. Toruń, 1995): «Бжоза, находясь под сильным впечатлением от книги М. М. Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского», приходит к выводу, что поэтика — это «носитель ценностно-мировоззренческой системы произведения», и что философия Достоевского — «проект герменевтической антропологии». Одновременно она считает, что «свести идейно-эстетическую сущность творчества автора „Бесов“ к какой-нибудь даже самой универсальной формуле невозможно. Это творчество слишком богато и многозначно, и как таковое часто уходит из-под контроля научно-философской логики, подвластной человеческому разуму”. Этот побег “из-под контроля научно-философской логики” свойствен исследованиям Бжозы в случае, когда она пробует соединить антропологическую мысль отцов православной церкви — через Достоевского — с экзистенциализмом XX в., с Хайдеггером, Камю, Рикёром, Тадеушем Кантором и др.»[11].

Серебряный век любил поговорить о национальных типах культуры[12]. Произошла некая аберрация зрения: «Речи к немецкой нации» Фихте (1808) стали на Руси цитироваться как рецепт умственного эликсира для поддержания патриотических

---

[11] *Лазари А. де, Сухарски Т.* Достоевский в польской литературе, литературоведении и философской мысли с 1970-х гг. по настоящее время // Достоевский. Материалы и исследования. СПб.: Нестор-История, 2013. Т. 20. С. 31. Существенно метачитательское уточнение авторов: «Польская мысль, в принципе нерелигиозная, сосредоточенная более на истории, чем на богословии, и исследователи, пишущие о Достоевском, совершают своего рода прохождение, трансгрессию, иногда выходя за пределы тех смыслов, которые вкладывал в свои произведения Достоевский» (Там же. С. 42).

[12] Для ближайшего примера: *Шапир Л. Н.* Национальные типы культуры (Тип французский, немецкий, английский, русский) // Северные записки. 1915. Февраль. С. 141–160; Национальные типы культур (Тип германский, итальянский, русский) // Там же. 1915. Март. С. 127–141. Новейшая книга на эту тему: *Гачев Г. Д.* Ментальности народов мира. М.: Алгоритм, Эксмо, 2008.

эмоций в нужном тонусе. На фоне Гражданской войны, воюя с Германией, похваливать Фихте, а уж заодно и Ницше со Шпенглером — для этого нужен был какой-то особый настрой по отношению к собственной Родине — от истеричного ура-патриотизма до самоненависти. Подобным образом, когда произошла трагедия с эскадрой адмирала Рожественского, символистский журнал «Весы» демонстративно вышел с изящной японской гравюрой на обложке.

Пристальность, с какой нас читают в Китае и Японии, сравнима только с германской. На фоне массы переводов и исследований русской классики Италия и Испания явно проигрывают тевтонскому племени читателей, хотя славистов и там и там предостаточно.

Китайцы к нам относятся с сочувствием, а японцы — с «сочувственным вниманием» (выражение М. Пришвина). Для Китая мы — товарищи по несчастью и соратники в борьбе за правое дело: Китай педантично повторил чуть не все ошибки нашего исторического пути, но при этом остался при марксизме, потому что китаец без идеологии жить не может. От Конфуция и Лао-цзы до Мао и Линь Бяо житель Поднебесной знает, что добродетельный муж должен подчиняться ритуалам (читай: узаконенной этике). Это не проявление рабской психологии, это органическое уважение к безусловной правоте Императора и его чиновников. Два наших талантливых китаеведа — В. Малявин и А. Кобзев, дали нам две модели китайского мировосприятии: первый основывался на интуиционистском принципе нерассуждающего приятия действительности и ее идеологических основаниях как Судьбы, второй — на широко пропагандируемой нумерологии, — если миром правят числа, то спорить с ними можно только числами. Впрочем, числовыми аргументами нас не удивишь: см. монографии Б. А. Фролова «Числа в графике неолита» (Новосиб., 1974) или книгу А. Я. Сыркина «Проблемы изучения Упанишад» (М., 1971), а также целую серию публикаций В. Н. Топорова.

В Китае к нам относятся с величайшим пиететом, предпочитая Толстого Достоевскому. Толстой близок им своим поздним начетническим пуританством, когда проповедь превалирует над эстетикой слова, а риторика с гомилетикой ценится выше художественности как таковой. Достоевский китайцу не слишком понятен: ни один живой китаец не в состоянии, как Раскольников, идти по улице безраздельно погруженным в себя, сойти с тротуара и оказаться на брусчатке прямо перед мордой лошади. Рас-

кольников идет, не замечая стен домов и предметов. Для китайца это немыслимая распущенность и безволие души.

Когда японцы читают нас, они отыскивают в героях классики те сложные, метафизические извивы души, которые иногда с поразительной точностью отвечают их умонастроению. С другой стороны, такие специфично японские философемы, как малость, хрупкость, нежность, стыдливость, скромность, кротость, находят отклик в русской душе, всегда готовой к состраданию, милосердию и жертвенности. Не потому ли у нас каждый год появляется новый культовый японский автор? Вот короткий список: Кэндзабуро Оэ, Абэ Кобо, Акутагава Рюноске, Харуки Мураками, Юсио Мисима. Помним мы и старого японского классика Нацумэ Сосэки с удивительно остроумным романом «Ваш покорный слуга кот» (1905–1906). А уж книгу лирических шедевров «Манъёсю» мы держим в руках в школьные годы, как и китайскую «Книгу перемен» («И-Цзин»).

Страна, где хризантема и меч[13] не мешают соседству эстетики смерти (самураи; камикадзе; ниндзя) и любования сакурой, сумела обосновать эпистемологию личности, где свились воедино несоединимые вещи, напр., яростная кровожадность по отношению к врагу, трогательное отношению к природе, говорящей с человеком на тысяче языков. Люди островной психологии, буквально живущие в ежедневном ожидании катастрофы, японцы воспитали в себе мужественное предстояние Року и спокойное отношение к смертельной опасности.

Казалось бы, что у Тютчева общего с Японией? Но разве не с подлинно японским умилением, с каким обитатель Страны восходящего солнца любуется цветущей и умирающей вишней, говорит Фёдор Иванович о русской осени:

Ущерб, изнеможенье, — и на всем
Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовем
Божественной стыдливостью страданья.

«Осенний вечер», 1866

То, что в Японии «хризантема и меч», у нас — «икона и топор», — по названию старой книги директора Библиотеки Конгресса США Джеймса Х. Биллингтона (1966; рус. пер. 2001).

---

[13] *Рут Б.* Хризантема и меч: Модели японской культуры / Пер. с англ. 2-е изд. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2014.

Впечатляющий пример — изящное эссе Дзюнко Кото «Причинно-следственные связи в мире Достоевского в сопоставлении с японским понятием “эн”»[14], в котором сделана попытка транскрибировать философию жизни Достоевского в объемах многогранного понятия философии японской. Предприятие само по себе безумное: «упаковать» метафизику великого писателя в один-единственный иероглиф, но поразительным образом оно удалось. Достоевский не просто открылся японскому читателю через знакомую ментальную атрибутику, он и для нас стал еще богаче в контекстах объемного буддийского термина. Не потому ли буддологу Г. Померанцу удавалось так выразительно писать о «безднах Достоевского»?

В Китае так и не родилась философия личности. Там человек чувствует себя кем-то вроде толстовского Платона Каратаева (который, в свою очередь, не похож ни на реального мужика-солдата 1812 г., ни на деревенского мужика 1860-х, когда в комнате под сводами в Ясной Поляне шесть лет писался бесконечный роман-эпопея «Война и мир»: это авторская идеологическая конструкция роевого сознания и муравейного поведения).

Японец — весь в устремлении от абсолютных этических норм Империи к внутреннему космосу эстетических иллюзий. Поэтому Достоевский там оказался понятнее Толстого. Вся японская новеллистика училась у Гоголя гротескному реализму и ироническому взгляду на мир и место в нем человека, а у Чехова — психологизму повседневного и лапидарности слога. Эссе японских славистов — это, как правило, тонкие психологические этюды или исследования религиозных предпочтений.

Китай — страна с древней историей; полуязыческие рефлексы в сознании народа мирно уживаются с современной идеологией. Никто особенно не удивился, когда «Литературная газета» перевела однажды статью из «Жэньбинь жибао» под заковыристым названием «Об ошибках Конфуция и Линь Бяо». Было это в разгар травли маршала (1971), загубленного в авиакатастрофе под небом Монголии. Не надо спрашивать: «Где Кун Фу-цзы, а где второй после Председателя человек страны?» Китаец живет нечувствием исторического времени; даже глаголы в китайском языке не изменяются по временам. И в мировом пространстве он неподвижен, как Солнце Птолемея или Земля Коперника. Ведь обитает он в Поднебесной, следовательно, всегда в центре мировой космогонии. И в полуторамиллиардном человеческом космо-

[14] В сб.: Достоевский и XX век / Ред. Т. А. Сараскина. М.: ИМЛИ РАН. Т. 2. С. 2007. С. 457–465.

се он — атом среди родственных атомов, потому что, по гениальному зачину сказки Г. Х. Андерсена «Соловей» (1843), «в Китае все жители — китайцы и даже сам Император — китаец» (хотя и говорят иногда, что Цинь Ши хуанди (наст. имя Ин Чжэн, 250 до н. э. — 210 до н. э.), первый владыка Китая и основатель династии, был все-таки монголом).

Японец — весь в устремленности к будущему, к прогрессу и новизне исторического бытия, — и это при всем уважении к великим традициям предков и освященной веками этике общения. В Японии никогда не скажут устами Конфуция: «Не дай Бог жить в эпоху перемен»; идеологемы «нового человека», «перековки» и «перестройки» в Китае не работают. Японец — человек палингенеза, т. е. он на позиции возврата к прошлому с удержанием настоящего и в перспективе будущего. Подобным образом Чаадаев, руководимый Ж.-П. Балланшем, предлагал вернуться ко временам выбора веры и скроить свою историю заново, — по западным лекалам.

Если китайский буддизм утверждал власть традиции и благоразумную малоподвижность жизни внутренней и внешней, то в Японию новейшие персонализм и экзистенциализм проникли довольно рано и мощно повлияли на трактовки характеров и ситуаций в интеллектуальной прозе XX века. С радостным сердцем предстоит ежеутрене японец молодому Восходящему Солнцу, и оно приветствует его лучами надежды, росной свежестью и ароматами трав. При этом японцы, одарившие мир «36-ю видами Фудзи» Хокусаи (с 1830), прекрасно помнят, что Фудзияма на самом деле — грозный огнедышащий дракон, всегда готовый проснуться и пожрать пламенем и лавой всю эту невозможную красоту. Этому хтоническому чудовищу на земле соответствует бешеная активность демонов воды — тайфуны и цунами, ежегодно рушащие хрупкие постройки эстетически утонченных японцев. Но никакие катастрофы и жертвы землетрясений не способны умалить органический оптимизм этих улыбчивых людей.

Очерк всемирного восприятия русской классики по определению не может быть завершен. Представители славистики многих стран не попали в Антологию исключительно по техническим причинам. Редколлегии важно было собрать тексты писателей и мыслителей Запада и Востока, чтобы предъявить читателю многогранный, но далеко не исчерпывающий опыт мировой рецепции.

Дружба текстов на разных языках продолжается, и ширятся ее диалогические возможности. Составители и комментаторы

тома будут считать свою задачу выполненной, если знакомство с этим изданием внесет хотя бы каплю добра в отношения разноязычных читателей отечественной литературы.

Читатели всех стран, соединяйтесь!